

КУДА ВЕДУТ КАРТЫ



Это история о картах,
которые не лгут,
и о людях,
которые лгут
постоянно

ВЕРА РЕМДЕНОК

Вера Ремденок
Куда ведут карты

«Автор»

2026

Ремденок В.

Куда ведут карты / В. Ремденок — «Автор», 2026

Англия, 1833 год. 13-летняя Лизз Асквит находит на чердаке старые письма и портрет человека по имени Джон Торн. К моменту совершеннолетия она отправляется в Лондон — искать правду о прошлом своей матери. В Лондоне Лизз встречает загадочного картографа, который соглашается помочь ей. Он забывает есть, спорит с картами, как с живыми, и даёт ей четыре шиллинга — «инвестиция в ваше возвращение», говорит он. Но чем дальше заходит расследование, тем яснее Лизз понимает: картограф лжёт. За его ложью стоит тайное общество, которое держит в плену невиновных. И правда, которую ищет Лизз, может стоить жизни — и ей, и тем, кого она любит. Это история о картах, которые не лгут, и о людях, которые лгут постоянно. О выборе между безопасностью и любовью. И о четырёх шиллингах, которые однажды стали инвестицией в будущее.

© Ремденок В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Пролог	6
Глава I	7
Глава II	13
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Вера Ремденюк

Куда ведут карты

Предисловие

Эта книга — полностью художественный вымысел. Все персонажи, события, тайные общества и картографические мастерские существуют только на этих страницах. Любое сходство с реальными людьми и организациями случайно.

Действие романа разворачивается в Англии 1830–1840-х годов. Я старалась передать дух времени — насколько это возможно для человека, пишущего два столетия спустя. Если где-то экипаж едет быстрее, чем позволяли дороги, если какая-то деталь костюма или этикета не соответствует эпохе, если географические названия сместились на пару миль, прошу простить мне эти вольности.

В конце концов, картографы знают: даже лучшая карта не равна местности.

Спасибо, что открыли эту книгу. Надеюсь, вы найдёте в ней то, что ищете.

Пролог

Читатель, я должна кое в чём признаться. Я не знала, что ищу.

Когда я была ребёнком, я думала, что ищу ответы. Почему моя мать смотрит в окно — и не видит меня. Почему отец молчит — даже когда молчание становится невыносимым. Почему в нашем доме так тихо — и почему эта тишина давит, а не успокаивает. Я думала, что ищу место, где смогу дышать полной грудью, где ветер не будет казаться таким колючим, а тишина — такой тяжёлой. Я думала, что ищу человека, который увидит меня настоящую — не маску, которую я надевала каждое утро, а ту, что спряталась за ней. Но всё это было не совсем так.

Я искала нить. Ту самую — тонкую, как паутинка, и такую же прочную. Которая связывает нас с теми, кого мы любим, даже когда они далеко. Которая не рвётся, когда мы пытаемся её разорвать — лишь врежется в пальцы, напоминая о себе. Эта нить ведёт нас через всю жизнь: через чужие города, где улицы шепчут незнакомые слова, через лица, которые мелькают, как тени в свете фонаря, и слёзы, горячие и солёные. Я не знала, что эта нить существует, хотя она тянулась через весь мой путь — от дома, где моя мать смотрела в окно и ждала неизвестно чего, до того самого места, где я наконец поняла, что всё это время искала не что-то, а кого-то.

Эта история началась не в Лондоне и не в тот день, когда я впервые увидела его. Она началась задолго до этого. В доме, где тишина была такой густой, что, казалось, её можно потрогать руками, а часы на стене отсчитывали не минуты, а годы ожидания. В саду, где старая яблоня, когда-то дававшая сладкие и сочные плоды, сохла год за годом, а её ветви тянулись к небу в безмолвной мольбе. И в сердце моей матери, которое никогда не переставало ждать — даже когда она делала вид, что больше ни на что не надеется. Я расскажу тебе эту историю так, как она была на самом деле.

Я расскажу тебе о письмах, которые нашла на чердаке — их бумага пахла пылью и лавандой, а чернила выцвели до рыжего оттенка осени. Я расскажу тебе о портрете человека, которого никогда не знала, но чьи глаза, казалось, следили за мной из темноты, пока я разбирала старые вещи. Я расскажу тебе о Лондоне, о его туманных улицах и звонких входных колокольчиках. Но главное: о том, как я училась прощать — сначала других, а потом и себя, — и как училась верить, шаг за шагом, словно заново училась ходить.

Но прежде чем я начну, я хочу, чтобы ты знал: эта история о том, что мы находим, когда перестаём искать. О том, что мы обретаем, когда теряем надежду. И открываем, когда закрываем глаза и перестаём бояться. И в самом конце, когда страницы останутся позади, ты вдруг почувствуешь это лёгкое прикосновение — будто что-то тонкое и прочное скользнуло между пальцев. Ты оглянешься на пройденный путь и поймёшь: эта нить была с тобой всё время. Она есть у каждого. И она не рвётся — даже когда кажется, что всё потеряно.

Но я забегая вперёд. Позволь мне начать с самого начала.

Глава I

В которой я впервые замечаю тишину

В тот день нечего было и думать о том, чтобы остаться дома.

С утра отец уехал по делам, и его отсутствие ощущалось острее присутствия: кожаное кресло в гостиной стояло пустым, газета лежала неразвернутой, и в воздухе висело то особое напряжение, какое бывает в комнате, откуда только что кто-то вышел. Мать сидела у окна, как всегда. Ее пальцы гладили деревянную раму — три пальца, движение вверх-вниз, пауза, снова вверх-вниз. Я знала этот жест так же хорошо, как собственное имя. Если бы в нашем доме был герб, на нём следовало бы изобразить руку, глядящую оконную раму, и девиз: «Ничего не случилось».

Наш дом стоял на западной окраине Норфолка — там, где город растворялся в сельской тиши: мощеные улицы сменялись проселочными дорогами, а строгие каменные ограды — живыми изгородями из боярышника, усыпанными красными ягодами. Он был старым, из темного песчаника. Время покрыло его мхом, а трещины на стенах напоминали шрамы, хранящие давно забытые истории. За домом раскинулся сад, когда-то полный цветов и смеха, а теперь — заросший и молчаливый. Трава скрыла дорожки, и только старая яблоня не сдавалась: её голые ветви, как чёрные пальцы, тянулись к закатному солнцу, будто пытаясь удержать ускользающее тепло.

Этот сад был мне дорог. Я часто сидела на старой скамейке под яблоней, глядя в серое небо, и пыталась представить, какой была моя мать в молодости. На старых зарисовках она стояла среди роз: темные волосы падали на плечи мягкими волнами, а зеленые глаза смеялись — будто знали какой-то секрет. Сейчас же та же женщина застыла у окна: взгляд скользит по улице, но не видит ничего вокруг.

Однажды я стояла в дверях гостиной и ждала, когда она обернется. Не знаю, зачем. Может быть, мне хотелось, чтобы она заметила меня без слов — просто потому, что я её дочь и я стою здесь, в ожидании ее реакции и тепла.

Я прислонилась к косяку и начала считать про себя: раз, два, три. На двадцати семи я сдалась и кашлянула. Звук получился тихим, почти робким — будто я извинялась за то, что нарушила тишину.

Она не обернулась.

— Мам, — сказала я.

— М-м?

— Ты меня слышишь?

— Конечно, слышу. — Она по-прежнему смотрела в окно. — Что ты хотела?

Ничего, подумала я. Я хотела, чтобы ты посмотрела на меня. Это не «ничего», а, наверное, самое важное, что можно хотеть в моем положении. Но я не сказала этого. Дети в нашем доме не говорили таких вещей. Да и кто бы стал слушать? Мать — с ее вечным холодом. Отец — с его вечной газетой. Говорить здесь было всё равно что кричать в колодезь: звук возвращается к тебе обратно, только искаженный и чужой.

Мне было тринадцать, и у меня был старший брат. Его звали Уильям. Он был всего на два года старше меня, но мне казалось, что на целую жизнь. Уильям был тем, кого мать целовала перед сном. Тем, кому перепадали редкие улыбки, словно золотые монеты, которые не тратят по пустякам. И тем, чьи письма — когда он на месяц уезжал к тётке в Линкольншир — мать перечитывала за ужином, беззвучно шевеля губами.

Я не ревновала. Ревность — чувство, которое требует равенства: ты хочешь получить то же, что и другой. Но я никогда не считала, что мы с Уильямом равны. Это было не просто мое

убеждение, оно являлось полноправным устройством нашего дома, такое же незыблемое, как то, что часы тикают сбивчиво, а половицы скрипят по ночам.

Уильям был солнцем — ярким, всепоглощающим, дарующим свет по праву рождения. Я же была планетой на дальней орбите, чья роль — отражать этот свет, а не создавать собственный. И пусть свет солнца не доходил до меня в полной мере — что ж, так было заведено. Никто не спрашивал планету, хочет ли она быть на дальней орбите. Планета просто вращается, подчиняясь законам, установленным задолго до её появления.

Уильям вошёл в гостиную, когда я ещё стояла у двери. В руке он держал книгу — тот самый томик стихов, который мать подарила ему на прошлое Рождество. Мне на то же Рождество подарили шерстяные чулки. Мэри. Не мать.

Я помню, как развернула их и подумала: «Вот. Моё место в этом доме — размером с детский чулок». И как всегда, в этот момент я почувствовала ту самую колючую горечь — не зависти, нет, а понимания: для одних здесь готовят книги и мечты, в то время как для других — практичные вещи и молчание.

— Доброе утро, — сказал Уильям и, проходя мимо матери, наклонился и поцеловал её в висок.

Мать подняла руку и коснулась его щеки — легко, почти невесомо. Так она касалась лепестков в саду и так она никогда не касалась меня. Я смотрела на этот жест, и в груди что-то сжималось, прямо как тугая пружина, которую закручивают до предела. Я знала, что пружина когда-нибудь разожмется. Но не знала, когда именно.

— Доброе утро, мой дорогой, — сказала мать.

Голос у неё изменился. Потеплел. Я слышала это каждый день и каждый раз удивлялась: значит, она умеет так говорить. Просто не со мной. Ведь я — не «дорогая». Я просто «Лизз». Один слог, который она произносила так же, как простые слова по типу «чай» или «дождь».

Уильям сел в кресло отца — ему позволялось то, что не позволялось мне, — и открыл книгу. Он был красив той особой, спокойной красотой, какая бывает у людей, которые никогда не сомневались в том, что их любят. У него были тёмные волосы (не каштановые, как у меня и матери) и глаза цвета грозового неба. Он сидел в кресле отца, а я стояла у двери, и между нами была пропасть, для которой у меня не находилось названия.

— Ты опять глазеешь? — спросил Уильям, не поднимая головы от книги. Голос у него был ровный, беззлобный. Он не хотел меня обидеть. Ему просто было всё равно — а это, как я уже начинала понимать, ранит сильнее злости. Злость можно счесть хотя бы за внимание. А равнодушие — это когда тебя просто не воспринимают всерьёз.

— Я не глазею, — сказала я. — Я смотрю.

— Смотреть и глазеть — одно и то же.

— Нет. — Я сама не знала, откуда взялось это упрямство. — Смотреть — значит видеть. Глазеть — значит просто таращиться.

Уильям поднял бровь (точь-в-точь как мать) и вернулся к книге. Разговор был окончен. Он умел заканчивать разговоры одним движением брови. Этому я завидовала даже больше, чем всему остальному. Больше, чем книге или поцелую в висок. Завидовала его способности быть уверенным, что он здесь главный и самый важный.

Мэри, наша служанка, спасла меня, сама того не ведая. Она вошла в гостиную со словами «Я отведу её на прогулку, мэм» и вывела меня на улицу прежде, чем я успела понять, что меня спасают. Я была благодарна ей, хотя и не сказала об этом вслух.

Ноябрьский холод пробрался под пальто и устроился где-то между лопаток. Я шла и думала: вот так, наверное, чувствует себя старая монета — холодная, забытая в кармане зимнего пальто. Ветер гнал сухие листья вдоль мостовой, и они шуршали, словно старые письма, которые никто не прочёл.

Мы остановились у церкви. Мэри вынула монеты и протянула их нищенке. Та сидела на паперти, съежившись, прикрываясь от ветра потрепанным платком. Женщина была старой: лицо в глубоких морщинах, белые волосы, спутанные, как сухая трава, кое-где выбивались из-под платка. Она взяла монеты, не поднимая глаз, — её пальцы дрожали, а руки были покрыты тёмными пятнами времени.

— Спасибо, госпожа, — прошептала она.

Мэри ничего не ответила. Она развернулась и пошла дальше.

Я хотела последовать за ней, но на мгновение решила задержаться. Нищенка подняла голову и посмотрела на меня своим цепким взглядом. Её серые глаза показались мне до жути пустыми, как у человека, который давно перестал ждать. И при этом в их глубине таилась какая-то странная, незнакомая мне доселе, мудрость. Я невольно вздрогнула: казалось, она видит меня насквозь и знает всё, о чём я молчу.

— Помоги мне, девочка, — прорычала она. Её голос был хриплым.

— У меня нет денег, — ответила я, чувствуя, как предательски краснеют щеки.

— Деньги не нужны, — усмехнулась она, и в этой усмешке было больше печали, чем злости. — Ты можешь помочь просто тем, что согласишься на меня. Все смотрят сквозь меня, будто меня нет. А ты посмотрела. Спасибо.

Её глаза, пустые и бездонные, на мгновение встретились с моими, и страх сковал мое тело. Я замерла, пока не почувствовала странное сходство, неочевидное для меня ранее, между мной и ей. Все смотрят сквозь — я ведь знала этот взгляд. Я видела его каждое утро, когда мать смотрела сквозь меня (туда, где сидел Уильям). Отец смотрел сквозь меня (туда, где была его газета). Я была словно прозрачным окном. И единственным моим назначением было оставаться на месте и не мешать смотреть на то, что за мной.

У меня не нашлось для нее ответа. Я тронулась с места и поспешила дальше, догоняя Мэри.

Чуть проходя вперед, в переулке, мы наткнулись на семью: мужчина, женщина и трое детей. Они были очень грязные и одеты в лохмотья. Мэри осторожно обошла их и скрылась за поворотом. Я же, естественно, отстала. Меня поразила представшая предо мной картина. Женщина наклонилась к младшему, шепнула что-то на ухо — и мальчик рассмеялся. Звонко, заливисто, будто серебряный колокольчик. Она поцеловала его в лоб и прижала к себе обеими руками.

Я стояла и «глазела». У них ведь не было ничего, но женщина целовала своего ребенка с такой безусловной любовью (причем она поцеловала не одного избранного, а всех троих по очереди), что у меня навернулись слезы. Она не выбирала. Просто искренне любила их всех, одинаково. И я вдруг поняла, что в моём доме любовь была сродни награды. Ее выдавали, как медаль. Чем ее можно было заслужить, я не знала. Но мне это было и не нужно, ведь мне все равно ее не дадут.

Когда мы с Мэри вернулись, дома было тихо. Часы на стене тикали сбивчиво, словно спотыкаясь на каждом «тик» и сомневаясь, стоит ли продолжать. Пахло старым деревом и затхлостью — будто воздух здесь не менялся годами. Отец уже вернулся. Он сидел в своём кожаном кресле, пахнушем табаком, и читал газету. Мать, как обычно, у окна. Уильям расположился на ковре перед камином, с книгой на коленях. Он читал вслух и мать внимала каждому его слову.

Я села на своё место между ними — то, что не принадлежало никому.

— Как прошла прогулка? — спросила мать. Голос был рассеянный, она всё ещё слушала стихи Уильяма, а не меня.

— Мы с Мэри видели нищенку и семью в переулке. Они были грязными и голодными, но они смеялись так, как будто их это совершенно не волнует.

— Бедные люди часто смеются. Это их способ не сойти с ума. — подытожила мать.

— А почему мы не смеёмся? — вырвалось у меня прежде, чем я успела себя остановить.

Уильям перевернул страницу. Отец перевернул страницу. Два шороха нарушили тишину почти синхронно. Я посмотрела на них — на три фигуры, освещённые огнём камина, на тёплый круг, в который меня не пускали, и что-то внутри меня надломилось. Очень тихо, почти беззвучно. Так ломается ветка, которую слишком долго гнули.

— Почему ты никогда не смотришь на меня? — спросила я. Голос дрогнул, но я не отвела взгляд. — Ты смотришь на Уильяма. Ты целуешь Уильяма. Ты читаешь его письма. А на меня ты смотришь только когда я задаю вопросы, на которые ты не хочешь отвечать. Почему?

И снова тишина. Густая, как вода.

Мать медленно повернулась ко мне. Её глаза встретились с моими, и в этот самый момент я уже сильно пожалела, что спросила. В её взгляде не было ни любви, ни интереса. Только усталость.

— Ты всё придумываешь, — сказала она тихо. — Ты всегда это придумывала. Я люблю вас одинаково.

— Это неправда! — Я встала. Меня начало потрясывать. — Ты ни разу не посмотрела на меня так, как на него! Ни разу! Что я сделала? Чем я хуже? Почему он — твой дорогой, а я — просто Лизз? Почему ты отворачиваешься, когда я вхожу в комнату? Почему ты никогда не спрашиваешь, как прошла моя прогулка, так, чтобы это дало мне понять, что тебе действительно интересно?

— Ты драматизируешь, — резко отрезала мать. Голос её был ровный и холодный. — Ты всегда была трудным ребёнком и искала, на что бы обидеться.

— А я не искала! Оно само меня нашло! — Я почти кричала. — Ты думаешь, я хочу чувствовать это? Ты думаешь, мне нравится знать, что я — лишняя в собственном доме?

— Ты не лишняя, — сказал отец, не поднимая глаз от газеты. Голос у него сделался глухим, словно он говорил из-под подушки.

— Тогда почему ты молчишь? — Я повернулась к нему. — Ты сидишь и читаешь свою газету уже тринадцать лет. Тринадцать лет, папа! Ты хоть раз видел, как она на меня смотрит? Или замечал, что за ужином она кладёт лучший кусок Уильяму, а мне то, что осталось?

Отец поднял голову. Его усталые, выцветшие глаза встретились с моими. Я ожидала увидеть в его взгляде что-то вроде гнева или защиты. Но, к удивлению, увидела только вину. Тяжелую, старую вину, которая, казалось, пролежала там уже так давно, что он сжился с ней.

— Я не могу, — сказал он тихо.

— Что — не можешь? — воскликнула с непониманием я.

— Не могу сказать то, что ты хочешь услышать. — Он отложил газету, но глаз не поднял. — Есть вещи, которые лучше не трогать. Ты ещё маленькая. Когда-нибудь ты поймёшь. А пока

— А пока я должна просто верить? — перебила я. — Верить, что меня любят, хотя я этого не вижу? Что я не лишняя, хоть меня и не замечают? Как можно верить в то, чего нет, папа?

Отец ничего не ответил. Только плечи его опустились ещё ниже, и он показался мне очень, очень старым. И в этот момент я поняла: он не заступится. Ни сейчас, ни завтра. Никогда. Я знала, что он любит меня. Но его любовь похожа на свет далёкой звезды: она как-бы есть, но не греет от слова совсем.

Уильям поднял голову. Он молчал всё это время, но теперь его губы дрогнули в усмешке.

— Ты закончила? — ехидно спросил он.

— Что?

— Ты закончила? — он повторил. — Тебе сказали, что всё в порядке. Что ты ещё хочешь?

Чтобы мать упала перед тобой на колени и поклялась в любви?

— Не начинай. — Я закатила глаза.

— Мама сказала, что любит нас одинаково, — продолжил он.

— Это неправда. — Отрезала я.

— Может быть, ты просто хочешь, чтобы всё было про тебя?

— Не смей.

— А то что? — Он закрыл книгу. — Что ты сделаешь, Лизз? Будешь смотреть на меня своим обиженным взглядом? Ты только это и умеешь — смотреть и обижаться.

Что-то во мне взорвалось. Не знаю, откуда взялась эта сила. Я была тихим ребенком и никогда не дралась. Но в тот миг — в тот самый миг, когда он улыбнулся своей ехидной, сытой улыбкой, я бросилась к нему, вырвала книгу из его рук и швырнула ее в камин.

Пламя охватило страницы мгновенно. Уильям вскрикнул. Мать ахнула и бросилась к камину, но было уже поздно.

— Что ты наделала! — Уильям схватил меня за запястье и вцепился ногтями. Я почувствовала резкую боль — его пальцы впились в кожу, и по руке потекло что-то тёплое. Я дёрнулась, попыталась высвободиться, но он держал крепко.

— Пусти меня!

Я толкнула его в грудь. Он покачнулся, ударился спиной о край стола и замер, глядя на меня с тем особенным выражением, какое бывает у людей, которые только что поняли, что могут изобразить жертву.

— Она ударила меня! — Его голос сорвался. — Она хотела меня ударить! Вы видели?!

— Я не хотела! — закричала я. — Он сам меня схватил! Он сделал мне больно! Посмотрите на моё запястье, посмотрите!

Я закатала рукав. На запястье горели красные полосы. Но они не посмотрели. Мать уже была рядом с Уильямом, обхватила его руками, прижала к себе — так, как никогда не прижимала меня. И её глаза, встретившись с моими, были полны резкого, колючего холода.

— Ты закончила? — спросила она.

— Мам, я он первый

— Ты сожгла книгу. Ты ударила брата. Ты накричала на отца и на меня. Ты довольна? Теперь ты чувствуешь, что права?

— Я не

— Мэри!

Мэри уже стояла в дверях. Лицо у неё было бледное, губы сжаты в тонкую полоску.

— Отведи ее наверх. Пусть посидит у себя и подумает.

— Он врёт! — выкрикнула я, чувствуя, как слезы текут по лицу. — Он всегда врёт! Ты слушаешь только его! Ты всегда слушала только его! Ты меня даже не слышишь! Я здесь стою и кричу, а ты смотришь сквозь меня, как будто я — ничто!

Мать не ответила. Она отвернулась и снова стала смотреть в окно. Ее пальцы машинально задвигались по раме. Вверх-вниз. Вверх-вниз.

Мэри взяла меня за локоть и вывела в коридор. Я не сопротивлялась. Ноги были ватными и каждый вдох давался с трудом. Мы поднялись по лестнице.

Наверху Мэри открыла дверь моей комнаты и посторонилась.

— Рука болит? — ласково поинтересовалась она.

— Нет, — соврала я.

Она вздохнула.

— Посиди, успокойся. Я принесу холодной воды. Приложишь.

— Они мне не верят. Думают, что я всё придумала.

Мэри посмотрела на меня долгим пытливым взглядом.

— Иногда люди верят в то, во что им удобно верить, — сказала она тихо. — Это не значит, что ты неправа.

Она закрыла дверь и я осталась одна.

За окном уже смеркалось. Я сидела на кровати, прижимая руку к руке, и смотрела на черные ветви яблони за окном. В ушах все еще звенели слова: «Ты всё придумываешь. Ты

всегда была трудным ребёнком». Я знала, что не забуду их никогда. Они въелись глубже, чем ногти Уильяма.

Но самое странное, что я совершенно не чувствовала себя побежденной. Что-то внутри меня затвердело как камень. Теперь меня не могли сломать ни крики матери, ни молчание отца, ни ногти брата. Я не знала, как это назвать. Упрямство? Гордость? Или просто злость — та, что не гаснет, а тлеет, как уголь под золой?

За окном выл ветер. Запястье болело. Я закрыла глаза и подумала: однажды я уйду из этого дома. Эта мысль не была красивой. В ней не было обещания, которое дают героини книг. Это была простая, холодная мысль, такая же, как ноябрьский ветер за окном. Однажды я уйду. Не потому что я слабая и убегая от проблем, а потому что оставаться здесь — всё равно что медленно замерзать. А я не хочу замерзнуть насмерть. Я хочу согреться и жить.

Глава II

Неделю назад я видела, как мать поднималась на чердак. Она не заметила меня — я стояла в тени у лестницы. Вернулась она через час с покрасневшими глазами и ничего не сказала. Я не спросила. Но с тех пор мысль о чердаке не давала мне покоя, будто между её молчанием и пыльными коробками наверху пряталась какая-то тайна, которую дом не хотел выпускать наружу.

И вот теперь лестница на чердак скрипела под моими ногами — каждая ступенька на свой лад. Я знала этот скрип с детства, знала, где наступить, чтобы не разбудить отца, когда он спал после обеда: на пятой ступеньке был самый громкий звук, на седьмой — почти бесшумно. Я могла бы подняться с закрытыми глазами и всё равно знала бы, куда ступить. Этот дом научил меня ходить бесшумно. И именно эта привычка к тишине сейчас помогала мне красться вверх, будто сам дом шептал: «Только тихо, не спугни то, что скрыто».

Поднявшись, я нащупала пыльную ручку люка и осторожно потянула её на себя. Она поддалась с неохотой, будто чердак не хотел пускать гостей. Я его понимала. Меня бы тоже не обрадовал незваный посетитель.

На чердаке было холодно и сухо. Воздух стоял спертый, как в старом сундуке, который не открывали много лет, и, в сущности, так оно и было. Маленькое круглое окно в углу пропускало тусклый лунный луч света, и в нём сонно танцевали пылинки. Я зажгла свечу, которую взяла с собой, и тени прыгнули на стены. В детстве я боялась теней — мне казалось, что они тянутся ко мне из углов, хотят схватить и утащить в темноту. Теперь я смотрела на эти дрожащие полосы и почти улыбалась. Тени не страшны. Они просто показывают, где света не хватило. Бояться нужно не темноты, а того, что в ней прячут.

Сундук стоял в углу, где я его помнила: большой, кованый, с медными уголками, потускневшими от времени. На них проступили зелёные пятна окиси — такие же, какие бывают на старой церковной крыше. Крышка была слегка приподнята, а замок висел открытым: ключ потерялся много лет назад, и никто не пытался его найти. В нашем доме вообще редко что-то искали. Мы предпочитали не находить, ведь это означало задавать вопросы, которые здесь не любили.

Я подошла к сундуку и опустилась на колени. Пол подо мной был ледяным — ноябрьский холод пробрался даже сюда, под крышу. Я открыла крышку, и петли застонали. Звук был такой, будто разбудили кого-то, кто не хотел просыпаться.

Письма.

Два десятка, не меньше, перевязанные шелковой лентой — когда-то белой, теперь пожелтевшей, хрупкой, как высохший стебель. Я коснулась её с опаской: казалось, одно прикосновение и она обратится в пыль. Но лента удержалась. Она была сделана из более прочного материала, чем можно было предположить.

Я взяла связку в руки. Письма оказались лёгкими, почти невесомыми — тонкая бумага, поблекшие чернила, местами почти стертые временем. Я развязала узел и замерла. Мои пальцы дрожали не от холода. Я чувствовала себя воровкой, ведь эти слова были написаны не для меня. Они были адресованы женщине, которую я называла матерью, но которую, как мне иногда казалось, я совсем не знала. Читать их сейчас было всё равно что подслушивать под дверью. Но я и так провела слишком много времени под дверями.

И потому я всё равно открыла первое письмо.

«Моя дорогая, моя любимая, моя жизнь»

Я закрыла его. Не смогла. Это было слишком — эти слова, эта нежность, этот голос со страницы, который звучал так, как в нашем доме не звучал никто и никогда. Мне вдруг сделалось стыдно, будто я заглянула в чужую спальню и увидела то, чего не должна была.

Я взяла следующее письмо. И следующее. И ещё одно. Я не читала их, просто держала в руках, чувствуя, как бумага холодит пальцы. Почерк был неровным, но не небрежным, скорее взволнованным. Кое-где чернила расплывались. От воды? От слёз? Я не знала. А еще я заметила, что в некоторых местах буквы были глубже вдавлены в бумагу — там, где перо останавливалось, а рука продолжала думать. Я представила, как отправитель сидит при свече, сторбившись над листом, и слова застревают в горле. Слова, которые он так и не сказал ей в лицо.

На одном из конвертов я заметила дату: «1818 год». За пару лет до моего рождения. Моей матери тогда было восемнадцать. И она уже любила. И её уже любили. Так, как меня — никогда.

Я положила письма на колени и долго сидела, глядя на них. В чердачной тишине, под мерцание свечи, они казались не просто бумагой, а настоящим мостом в прошлое, где моя мать еще умела быть живой и смеялась не для вида, ждала не из вежливости, хранила не по привычке, а по искреннему желанию и любви. Я подумала: хранить письма пятнадцать лет, это ведь тоже отчасти любовь. Не та, что заметна всем, не та, что строит дом и растит детей. Но тихая, упрямая и настоящая. Возможно даже более настоящая, чем та, первая.

Под письмами лежал портрет.

Я осторожно взяла его в руки. Молодой мужчина. Темные волосы, гладко зачесанные назад, словно он только что поправил их перед зеркалом. Светлые, почти прозрачные глаза так прямо смотрели прямо на меня, что я невольно отдернула взгляд. Но любопытство взяло верх и я снова их подняла, принявшись разглядывать незнакомца подробнее. На нем был темный сюртук, строгий, но не лишённый изящества. Такие сюртуки носят люди, которые одеваются не ради впечатления, а по внутренней необходимости.

Он улыбался, однако улыбка его была соткана из тени: не радость, а лишь жалкая попытка ее изобразить. В чертах лица читалась хрупкость, но не телесная, а та, что залегает глубже, в самой душе. Тонкая линия губ, чуть напряженные скулы, взгляд, в котором таилась невысказанная боль. Я смотрела в его глаза, и мне казалось, что он смотрит на меня в ответ, но что-то в этом взгляде не совпадало с улыбкой. Словно две части его души говорили на разных языках, и одна пыталась заглушить другую.

Это было страшное чувство. Я знала, что он не может меня видеть. Его, возможно, уже не было в живых. Но его взгляд был таким прямым, таким внимательным, что я невольно выпрямила спину и одернула юбку. Сама не знаю, зачем. Наверное, из уважения. Глупо, конечно.

Он совсем не был похож на моего отца в молодости. Я вспомнила старую миниатюру из семейного альбома: отец там смеялся, запрокинув голову, его волосы были растрепаны ветром, а глаза искрились весельем. Он выглядел таким свободным и живым, будто весь мир принадлежал ему. Тот юноша на миниатюре, и этот на портрете, были как солнце и луна. Один светил наружу, другой — внутрь.

Я перевернула портрет.

«Джон Торн. 1818»

Я медленно перечитала имя несколько раз, словно пробуя его на вкус. Джон Торн. Это имя звучало как название места, в котором я никогда не была, но которое почему-то казалось знакомым. Джон Торн. Красивое имя. Оно подходило его лицу, такому же строгому и печальному.

— Вот ты где!

Я вздрогнула и обернулась. В проеме люка стояла Мэри. Лицо у неё было встревоженное, но, увидев меня, оно смягчилось.

— Я тебя обыскала. Уже час, как ты здесь? — поинтересовалась она.

— Не знаю. — Я посмотрела на свечу, которая почти догорела. — Наверное.

Мэри оглядела чердак, сундук, письма в моих руках. Она ничего не спросила. За это я была ей благодарна больше, чем за что-либо ещё.

— Спускайся, — мягко приказала она. — Поздно уже. И холодно.

— Иду.

Она кивнула и уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась.

— Ты похожа на неё, — сказала она тихо.

Я замерла.

— На маму?

— Нет. — Мэри посмотрела на портрет в моих руках. — На неё. На ту, какой она была до того, как вышла замуж. Ты не знала её такой. Но я знала. Я служила в их доме ещё до того, как она встретила твоего отца. Тогда она была другой.

Я хотела спросить: какой? Но слова застряли в горле. Я протянула руку, чтобы задержать её, но Мэри уже шагнула к лестнице. Я поймала её за запястье.

— Какая она была?

Мэри помедлила. В её глазах мелькнуло что-то тёплое и болезненное одновременно.

— Живая, — сказала она. — Она смеялась так, что слышно было на всю улицу. И она умела слушать — по-настоящему. До того, как всё случилось.

— Что случилось?

Мэри посмотрела на меня долгим взглядом. Я видела, как она колеблется. Но потом она только покачала головой.

— Это не моя тайна, девочка. — Она коснулась моей щеки — легко, как мать никогда не касалась. — Когда она будет готова — скажет сама. А пока храни это. — Она кивнула на портрет. — Может быть, он скажет тебе больше, чем я.

Она выскользнула в проём. Пятая ступенька скрипнула громко, седьмая — почти беззвучно. Я осталась стоять в темнеющем чердаке, прижимая портрет к груди.

Осторожно, почти благоговейно, я свернула письма и спрятала их в карман юбки, стараясь не повредить хрупкие листы. А портрет Её я спрятала под блузку, у самого сердца. Он был прохладным, чуть шероховатым на ощупь, но мне казалось, будто он хранит в себе тепло чьих-то воспоминаний. Закрыла крышку опустевшего сундука и услышала, как петли снова застонали.

Спустившись вниз, я оказалась в привычной тишине дома. В гостиной, за приоткрытой дверью, сидела мать. Ее силуэт четко выделялся на фоне стены и она не обернулась, когда я прошла мимо: то ли не услышала, то ли сознательно проигнорировала. Скорее второе.

Улегшись на кровать, я закрыла глаза. Пыль всё ещё была на моих руках, и я чувствовала ее запах, когда вдыхала.

Утро началось с голоса Уильяма.

Я проснулась рано, когда за окном ещё только серело, и сад тонул в пелене ноябрьского тумана: ни ветвей, ни изгороди не было видно — только серое марево, в котором растворялось всё, что когда-то имело форму. Портрет я пока спрятала под матрас, письма — под стопку белья в комод. Я не знала, зачем прячу их. Мне не запрещали быть на чердаке. Но что-то подсказывало: если мать узнает — заберет и я больше никогда их не увижу. А я уже знала, что не хочу их терять. Они стали моими — не по праву, а по какому-то другому закону, которого я пока не могла объяснить.

Голос Уильяма доносился снизу, из гостиной. Он что-то читал вслух, судя по ритму, стихи. И мать слушала. Я слышала её редкие реплики и интонацию, тёплую, одобрительную. «Да, мой дорогой». «Очень хорошо». «Прочти ещё раз».

Я лежала и слушала, как брат читает стихи из книги, уже другой, которую мать дарил ему на День рождения. Мои рождественские чулки, связанные Мэри, уже протерлись на пятках. Странно, но мне не было горько. Мне не было никак.

Я встала, умылась ледяной водой из кувшина (Мэри всегда ставила его с вечера, и к утру вода становилась такой холодной, что обжигала) и оделась. Портрет я достала из-под матраса и положила в карман юбки. Мне просто хотелось, чтобы он был рядом и я была спокойна, зная, что его не украдут.

За завтраком было тихо. Отец сидел с газетой — как всегда. Мать, не отрывая взгляда от окна, медленно помешивала ложечкой остывающий чай. Уильям ел тосты с джемом и время от времени поглядывал на меня с тем особым выражением превосходства, которое ни с чем не спутаешь. Я просто сидела, сжимая в пальцах холодную чашку, и думала о письмах.

— Ты плохо спала? — спросил отец.

Я подняла глаза. Он впервые за утро посмотрел на меня поверх газеты.

— Нормально. — соврала я.

— Ты бледная. — подметил отец.

— Это от ноября, — сказала я. — В ноябре все бледные.

Он помолчал, потом кивнул и вернулся к газете. Но перед этим я успела заметить в его глазах вопрос, который он не решился задать. Может быть, он знал, что я была на чердаке. Может быть, слышал скрип петель. Но он ничего не сказал. Как всегда.

Мать поставила чашку на блюдце.

— Уильям, сегодня вечером мы идём к Симмонсам. Надень синий сюртук.

— Хорошо, мама.

Она не спросила меня, хочу ли я пойти. Может быть, потому что я никогда не хотела. А может быть, потому что ей было всё равно. Я так и не научилась отличать одно от другого.

После завтрака я вышла в сад. Яблоня стояла голая, и ветер трепал ее ветви. Я села на скамейку, достала портрет и стала смотреть на него при дневном свете. Теперь я видела то, чего не заметила на чердаке при свече: у него была небольшая родинка над левой бровью. И в уголке рта пряталась едва заметная морщинка — не от возраста, а от привычки сдерживать улыбку. Интересно, он улыбался моей матери так же? Или она видела другую улыбку, ту, что не попала на портрет?

Сзади послышались шаги. Я быстро спрятала портрет в карман и обернулась. Это был отец. Он стоял в трёх шагах от меня, в пальто, накинутом на плечи, и смотрел на яблоню.

— Красивое дерево, — сказал он. — Твоя мать посадила его. Ещё до твоего рождения.

Я не знала этого.

— Она никогда не говорила.

— Она много чего не говорила. — Он помолчал. — Это не значит, что она не помнит.

Я смотрела на голые ветви. Ветер трепал их, и они скрипели, как старые половицы.

— Оно выросло выше меня, — сказала я.

— Да. — Он помолчал. — Деревья растут, даже когда на них не смотрят.

Я не нашлась что ответить. Он постоял ещё минуту, потом повернулся и пошёл обратно к дому. И в этом его уходе было что-то такое, от чего у меня сжалось горло. Я задумалась: может быть, он всегда знал причину, по которой Уильяму доставалось больше внимания. Знал и молчал. Может потому, что ему было всё равно. Или потому, что это было не его тайной.

А может быть, он говорил вовсе и не о

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.